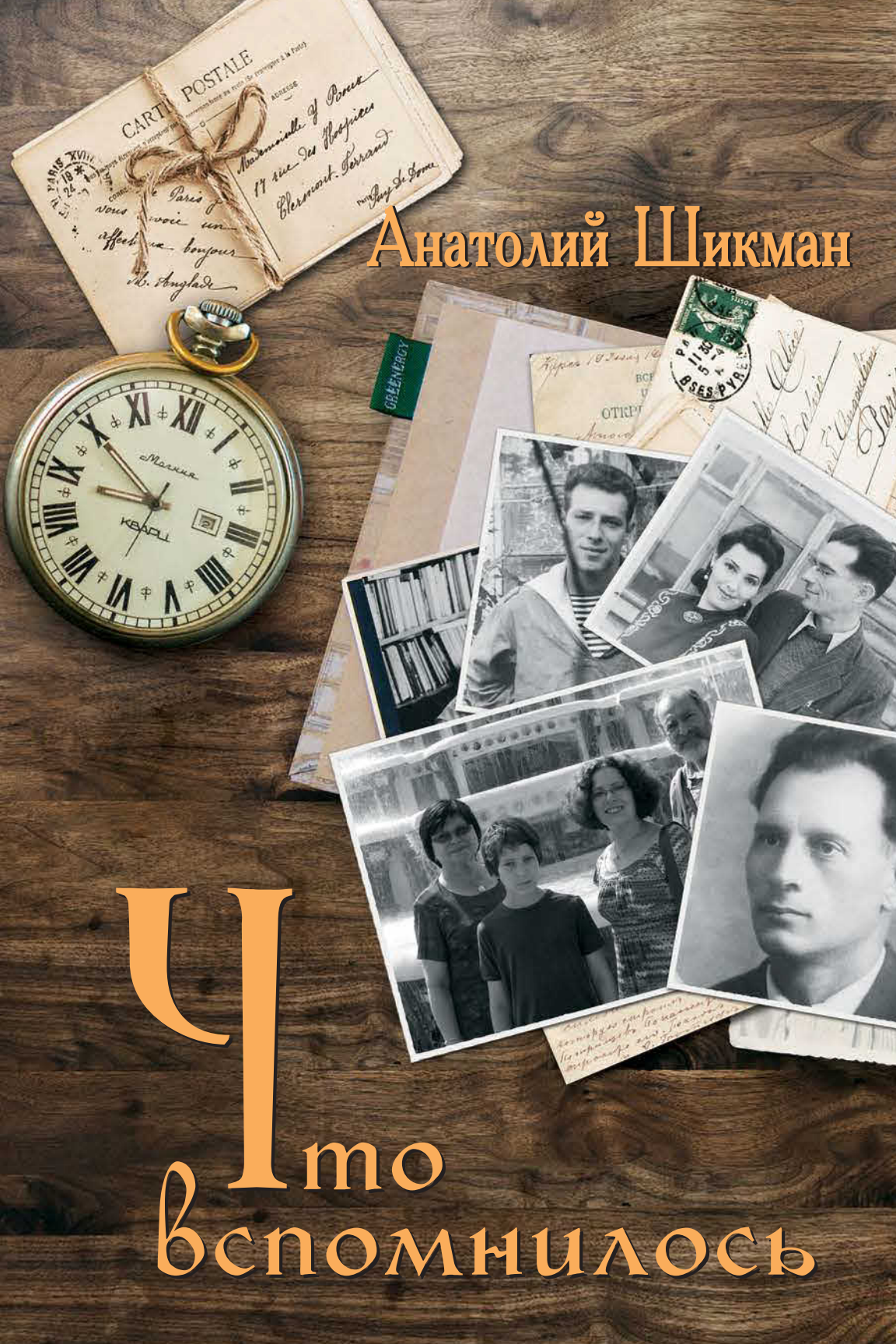

Анатолий Шикман

Что вспомнилось

Анатолий Шикман

Что вспомнилось

Бостон • 2022 • Boston

Анатолий Шикман: Что вспомнилось
Редактор: Юлия Тимошенко

Anatoly Shikman: What Was Remembered
Edited by Yulia Timoshenko

Copyright © 2022 by Anatoly Shikman

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1950319824
Library of Congress Control Number: 2022937347

Published by M•Graphics | Boston, MA
mgraphics.books@gmail.com
mgraphics-books.com

In colaboration with
Bagriy & Company | Chicago, IL
printbookru@gmail.com
www.bagriycompany.com

Book Design by Julia Grushko © 2022
Cover Design by Larisa Studinskaya © 2022

Фотографии в тексте: из архива автора

При подготовке издания использован модуль расстановки переносов русского языка ВАН™ (www.batov.ru)

Printed in the United States of America

Содержание

Предисловие 7

Что вспомнилось 9

Почти семейная история 165

Мечты о стабильном учебнике истории
в нестабильное время 177

Прощай, профессия 184

Совершенно несекретно 193

«Презумпция разрешённости» 208

Бремя белого человека 221

«Наша судьба быть лишь в сносках истории...» 233

Корней Чуковский опровергает Евгению Иванову 247

Продолжение мистификации 258

На злобу дня 262

О книгах 271

Приложение 337

Указатель имён 344

Предисловие

По-моему, Анна Ахматова была права, когда утверждала: «Всякая попытка связных мемуаров — это фальшивка. Ни одна человеческая память не устроена так, чтобы помнить всё подряд. Письма и дневники часто оказываются плохими помощниками». Поэтому я решил ограничиться записями мемуарного характера, не претендующими на жизнеописание. Так и появилось название «Что вспомнилось».

Помимо воспоминаний, я включил в эту книгу различные в жанровом отношении и написанные в разное время тексты, которые, как мне кажется, могут представлять интерес и сегодня. «Почти семейная история» органично дополняет мои мемуарные записи. Две статьи — «Мечты о стабильном учебнике истории в нестабильное время» и «Прощай, профессия» — дают представление о моей педагогической работе. Хотя конкретные вопросы, рассмотренные в них, изменились, общая тема — нет. Три публикации — «Совершенно несекретно», «Презумпция разрешённости» и «Бремя белого человека» — дают возможность взглянуть на журналистскую составляющую моей жизни. С моей работой историка знакомят биографическая статья о С. П. Постникове «Наша судьба быть лишь в сносках истории...» и публикация «Корней Чуковский опровергает Евгению Иванову». Статья «Продолжение мистификации» продолжает тему моей книги «Николай Морозов. Мистификация длиною в век» (М.: Весь мир, 2016). Пять материалов в Фейсбуке для друзей «На злобу дня» я включил в книгу как характеризующие моё отношение к российской жизни после завершения «лихих девяностых». В заключение

я даю некоторые из моих книжных рецензий, как уже ранее опубликованных, так и публикуемых впервые. Все эти статьи объединяет лишь то, что они являются частью моей жизни и дополняют мои воспоминания.

В приложении дана запись беседы с историком Жаком Ле Гоффом.

Что вспомнилось

Всю жизнь мне сопутствовала удача. Понял я это уже немолодым человеком, когда у меня появилось время и желание об этой жизни серьёзно задуматься. Первое моё немыслимое везение, о котором много лет я и не подозревал, случилось в раннем детстве. Где мне, четырёх-пятилетнему малышу, жившему среди книжек и игрушек, окружённому заботой и родительской любовью, было догадаться, что моё счастье и вся моя жизнь висели на волоске и зависели от случая. Мой дедушка Морис, папин отец, был расстрелян как вредитель и американский шпион. Тётя Норма, родная сестра моего отца, сидела в Кенгирском лагере в Казахстане «за измену родине». А моя семья жила в посёлке Комарово Любытинского района Новгородской области. Папа преподавал английский язык и рисование в местной школе. В 1949 году во время борьбы с «космополитизмом» отец, как американский еврей, был демобилизован, уволен с должности преподавателя английского из Военного института иностранных языков в Москве и смог найти работу лишь здесь. Любого доноса было достаточно, чтобы папы и мамы я больше никогда не увидел. А таких, оставшихся без родителей, детей было сколько угодно, и как обычно складывалась их жизнь, теперь уже хорошо известно. С украденным прошлым и будущим, они попадали в жуткие условия советских детских домов. Им выдумывали имена и фамилии, а в графе «родители» ставили прочерк. Ущербные документы детей репрессированных отнимали у них даже теоретическую возможность серьёзного образования или хорошей работы. Лишённые нормальной еды, элементарного воспитания, заботы и защиты, именно они становились

первыми кандидатами в места заключения, куда могли попасть случайно или за копеечное воровство. Именно над ними изгалялись с особым изуверством уголовники. Вероятно, ни в чём ином столь наглядно не проявилась бесчеловечная суть советской эпохи, как в этих изуродованных детских жизнях. Я не думаю, что мои родители не читали и не слышали о «врачах-убийцах» с еврейскими фамилиями, но даже они не могли знать, что только смерть Сталина отменила депортацию советских евреев. Не каждому выпало такое фантастическое везение в начале жизни.

Память о человеке сохраняется, как правило, только до той поры, пока хоть кто-то его помнит. Потом исчезает и память. Дольше живут документальные свидетельства, которые тоже не вечны, но, даже при условии, что они сохранились, их ещё нужно уметь найти и объяснить. Потому что письма, автобиографии, свидетельства, записки, дневники, фотографии и прочее надобно суметь увидеть и понять. В какой-то мере исключением из этого общего правила являются те, кто оставил после себя стихи, прозу, публицистику, живопись или научные работы. Из того множества людей, с которыми вы встречались или были близки, много ли таких?

Иногда даже то, что в общем понятно, становится совершенно неясным с течением времени. Эту фотографию я помню с детства. Три человека улыбаются в объектив: бабушка Ида рядом с моим молодым отцом с лейтенантскими погонами и моя красавица-мама. Два человека без тени улыбки: родная сестра отца — моя тётка Норма и, на коленях у мамы, крохотный я. Достать фото из альбома и посмотреть оборотную сторону я догадался, только когда эмигрировал в Америку. Увидел надпись на английском: «The god forsake family — Moscow. 11.11.48» (Покинутая богом семья). Надпись, судя по почерку, сделана Нормой, но объяснить её мне уже некому. Из этой семьи остался сегодня лишь я. Норма, почти не видящая, не слышащая и плохо понимающая, кто с ней разговаривает, умерла в Бостоне в 2019 году, не дожив меньше месяца до своего 101-го дня рождения. О расстреле по приговору тройки моего деда, Мориса Шикмана, семье пока неизвестно. Отца ещё не демобилизовали и не выгнали с работы, и Норма не догадывается об ожидающих её семи годах сталинских лагерей. Фотография вполне благополучна. Почему же такая надпись? Ответить на этот вопрос мне не поможет никто и никогда.

1953 год был первым, который я запомнил. Чёрная тарелка репродуктора на стене передавала вой толпы, рыдающей по великому вождю, любимому товарищу Сталину. Меня поразил мой сосед-ровесник, сын директора школы Валька Планкин, прибежавший ко мне домой в слезах: «Сталин умер!» — на что последовал мой недоуменный вопрос: «Ну и что?» Валька махнул в отчаянии рукой и убежал.

Жили мы втроём в квартире, состоявшей из одной комнаты и крохотной кухоньки с печкой, без водопровода, на втором этаже большого, с двумя подъездами, двухэтажного деревянного сруба. Летом мама со мной уезжала в Москву к своим родителям, моим дедушке и бабушке, а зимой мы жили с папой. Я с радостью катался на его плечах. Здесь в пять лет я вместе с отцом ходил за водой и пилил дрова. Я обожал книжки, которые мне часто читали, рисовал, возился с игрушками: деревянная утка, самодельный грузовик, в кузове которого меня иногда катали, железный паровоз с вагонами, любимый мною пластмассовый маленький козлёнок.

Однажды моё внимание привлекли ордена, изображённые рядом с названием газет. После маминых объяснений, что такое орден, я стал эти ордена вырезать ножницами и складывать в коробку. Однажды такой бумажный орден я прикрепил булавкой к рубашке и услышал от мамы, что орден дают за заслуги, а просто так носить его нельзя. Я решил заслужить награду и стал делать что-то полезное для дома. Так это началось: когда я слушался маму и делал что-то, что от меня хотели, мне пришпиливали эти ордена, и через несколько дней моя грудь напоминала грудь Л. И. Брежнева в последние годы его правления. Больше недели такой правильной жизни я выдержать не смог и грубо, с удовольствием, нарушил установленный порядок, за что мама содрала все ордена с моей рубашки. Испытав короткое чувство жалости по потерянному «иконостасу», я почувствовал радостное ощущение свободы, что было много соблазнительнее. С тех пор я смотрю на ордена, звёзды, медали и кресты безо всякого почтения.

Папа, мама и я завтракаем на кухоньке. У меня на тарелке хлеб и кусочек сливочного масла. У родителей на тарелках лежит хлеб и что-то другое.

— Пап, а что это?

— Маргарин.

— А почему вы не едите масло?

— Нам маргарин больше нравится.

— Можно мне его попробовать?

— Можно.

Я беру ножиком крохотный кусочек и осторожно пробую. Потом уверенно говорю:

— Нет, масло вкуснее.

Я на всю жизнь запомнил усмешку отца, может быть, потому что тогда не понял её смысла.

Папа проверяет школьные тетради, пристроившись на уголке нашего столика в кухне. В тот момент, когда я подошёл к нему, я увидел нарисованный им красными чернилами стул, перевёрнутый вверх тормашками и поставленный на спинку. Папа объяснил мне, что это не стул, а цифра четыре. Но маленький стул, каким я его увидел, никуда не пропадал. Пифагорова магия числа не овладела мной, а стул продолжал сохранять понятную для глаз конкретность. Вот ведь как рано выяснилось, что я никогда не стану математиком.

Чтобы мы ели рыбу в Комарово, я вообще не припомню, а эта принесённая папой замороженная рыбина даже не умещалась на кухонном столике. Не то чтобы я мечтал поскорее её съесть, я был неголоден, но она меня необычайно интересовала из чистой любознательности. Три табуретки, таз, печка и дрова не давали маме толком повернуться, а тут ещё я вертелся под ногами, потому что вдруг у щуки в брюхе окажутся маленькие рыбки. Мама обещала позвать меня, как только она разрежет рыбину, но усидеть в комнате было невозможно. Я лихо маневрировал между мамой, столом, табуреткой и дико заорал лишь тогда, когда ногой, на которую был надет шерстяной носок, я вступил в открытый стоящий на полу чайник с кипятком. Мама, схватив меня в охапку, помчалась в наш фельдшерский пункт рядом со школой и домом. В общем, всё обошлось. След, конечно, остался на всю жизнь, и обожжённая кожа время от времени давала о себе знать. На фотографии я лежу в кровати с торчащей из-под одеяла забинтованной ногой. Я улыбаюсь вполне счастливо. Мне никто не мешает лежать с книжками и игрушками, а играют со мной теперь чаще. Как мы ели эту рыбину, я не помню, но рыбок в её животе точно не было.

Я позабыл, откуда папа со мной возвращался домой, но хорошо запомнил, как бывший папин ученик, работавший машинистом, предложил подвезти нас до станции Вомпе. По ступенькам мы поднялись в паровоз, который поехал один, без вагонов. Я помню открывающуюся дверцу топки, куда лопатой в полыхающее пламя забрасывался уголь, пронзительный паровозный гудок и мелькающие чёрные вечерние деревья по пути, и клочья улетающего паровозного дыма. Может быть, и не было тогда в этой поездке ничего особенного, но, как заметил литературовед Борис Михайлович Эйхенбаум, «Пыль времени делает музейными самые обыкновенные вещи». А тут, по крайней мере, для меня событие было совершенно необыкновенным — прокатиться на паровозе.

После рождения моей сестры в июне 1954-го в Москве папа сказал мне, что они с мамой давным-давно решили, что своего мальчика они назовут Толя, а когда родится девочка, то Таня. Не возражаю ли я против этого имени моей сестрёнки? Я не возражал. В Комарово мы с Таней прожили меньше года, а потом вся наша жизнь сильно изменилась. В конце весны 1955 года по грязной глинистой пешеходной дорожке, идущей рядом с раздолбанной колёсами грузовиков грунтовой дорогой, мы шли от нашего дома на станцию. Мама несла на руках мою сестрёнку Таню, папа тащил два чемодана, а я шёл рядом с мамой сам, не держа её за руку, и спросил, вероятно, чтобы лишний раз в этом убедиться: «А мы больше никогда-никогда сюда не вернёмся?» Мама уверенно ответила: «Никогда». Я оглянулся ещё раз на наш серый двухэтажный дом, чтобы навсегда его запомнить.

Уже в Москве, много лет спустя, я рассматривал чёрно-белые фотографии времени жизни в Комарово. Убогий провинциальный быт обыкновенной учительской семьи. Картинки и фотографии на стенах, красная кукла-игольница, слоники на крохотной тумбочке, тахта с полосатым покрывалом, самодельный стеллаж с книжками и маленький папин письменный стол с фотографией над ним знаменитого американского певца Поля Робсона. Из этого дома и увозить было почти нечего. Но как же я любил рассматривать эти старые фотографии и долгие годы мечтал приехать сюда ещё раз, чтобы увидеть наш дом и наше окно на втором этаже.

Я вернулся через 55 лет. Правда, не с родителями, которых уже не было на свете, а с женой, которая резонно заметила мне, что раз я так давно хочу поехать в Комарово, зачем откладывать, если появилось время. Теперь это путешествие было гораздо проще, чем в те времена. Я подумал о моей героической маме, которая одна с тяжёлыми чемоданами и со мной, а потом ещё и с моей крохотной сестрёнкой ездила из Москвы с пересадкой в переполненных плацкартных поездах к папе.

Красивой осенью 2010 года я был бесконечно счастлив, когда мы мчались в комфортабельном скоростном поезде «Сапсан». На станцию «Вомпе», где и находится посёлок Комарово, без пересадки по железной дороге не добраться. Из Москвы — в районный центр Новгородской области Окуловку, стоящий на трассе Москва — Петербург, а оттуда уже можно было доехать в Комарово.

Переночевав в гостинице «Юность» в центре Окуловки, рано утром мы отправились на станцию. Погода соответствовала настроению. Прохладный и солнечный день без единой капли дождя. Тепловоз с одним полупустым плацкартным вагоном, ходивший по этому маршруту туда и обратно в один день только дважды в неделю, повёз нас в моё детство. Я проезжал маленькие станции «Поддубье», «Кулотино», «Котово», названия которых ушли из памяти. За окном мелькали покосившиеся избушки на фоне зелёно-жёлтого леса, болотца и перелески. На нашей станции от перрона уже почти ничего не осталось, и мы соскочили на едва заметные остатки платформы. Я увидел небольшое заброшенное здание вокзала и уже развалившееся багажное отделение. На одноколейке росла трава. Оглянувшись по сторонам и проводив взглядом наш поезд, мы пошли по теперь асфальтированной Шахтёрской улице, всё прямо и прямо, пока не дошли до пересекавшей её улицы Школьной.

Дом, кажется, ставший чуть-чуть ниже и темнее, стоял на своём месте. Наше окно — третье справа на втором этаже — было с занавеской и казалось живым, как и другие, виденные нами окна немногих местных домов. Но на самом деле дом был брошен. Электрические провода, шедшие к нему, были обрезаны, некоторые окна заколочены. Подъезд, в котором мы жили, был закрыт на замок. Я узнал, что как раз в нашей квартире ещё кто-то хранит свои вещи и иногда заходит туда. Поэтому попасть внутрь мы не смогли. Но дверь другого входа была припёрта остатками старой

школьной парты. Убрав её, мы вошли в покинутое жилище. Отремонтированная в шестидесятые годы лестница была крепка. По ней мы поднялись в такую же квартиру, как и та, в которой мы жили. Комната с ободранными обоями, открытая дверца печки.

Покосившиеся, почти упавшие сарайчики было невозможно отличить от того, где мы с папой пилили дрова. Рядом с нашим домом стоит, как и прежде, двухэтажное здание давно закрытой школы. Большие, почти все с выбитыми стёклами окна, за которыми просматриваются классы, двери зачем-то на замке. Нескольких оставшихся в Комарово детей автобус возит на учёбу в соседнее Зарубино. Больницы уже нет. Из приколотого кнопкой тетрадного листка на двери фельдшерского пункта мы узнали, что фельдшер в отпуске, а за неотложной медицинской помощью надо обращаться в Зарубино. В когда-то большом посёлке, где жили более десяти с половиной тысяч человек, сейчас меньше двухсот жителей, включая и живущих в окрестных деревнях. Бывшие здесь шахты, дававшие бурый уголь и огнеупорную глину, закрыты. От ТЭЦ почти ничего не осталось. Местное лесничество влачит жалкое существование. Когда-то посёлок, а ныне село Комарово, несмотря на красоты местной природы, тихо умирает, как и множество подобных мест.

Нам даже удалось встретить людей, которые вспомнили папу, его уроки и нашу семью. Они рассказывали мне, как им горько, что почти все, кто здесь жил, давно умерли или уехали, а вокруг всё разрушается и приходит в запустение. Настало время возвращаться. На наш дом я взглянул, теперь уже точно, в последний раз. А вечером мы сели в знакомый вагон и поехали обратно в Окуловку. И хотя мечта исполнилась, мне было очень грустно.

По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратно
Я бы запретил,

Я прошу тебя, как брата,
Душу не мути.
А не то рвану по следу,
Кто меня вернёт? —
И на валенках уеду
В сорок пятый год.
В сорок пятом угадаю,
Там, где — боже мой! —
Будет мама молодая
И отец живой.

Всё про меня у Геннадия Шпаликова. Только год мой был не сорок пятый, а пятьдесят третий.

1955 год. Мой школьный приятель, который пришёл ко мне домой, с удивлением сказал: «Тут у тебя можно заблудиться». Отдельная квартира из двух небольших комнат, кухни, ванной, туалета и крохотной кладовки без окна, в которой мой дедушка сделал замечательную мастерскую, от пола до потолка заполненную инструментами и «железками». Там даже стоял маленький токарный станок. В квартире как-то умещались шесть человек: дедушка с бабушкой, папа с мамой и я с сестрой. Но мой приятель жил в бараке, и наше жилище показалось ему огромным. Наш дом, как и соседние четырёхэтажные дома в Текстильщиках тогда ещё Ждановского района Москвы, строили пленные немцы. Эти серые одинаковые дома без лифта и мусоропровода, которые в детстве воспринимались как обычные, позже, когда я узнал другие районы Москвы и посмотрел мир, превратились в характеристику. Слово «текстильщики» стало для меня нарицательным для обозначения однообразного убожества. Скучные дворы с лавочками и огороженными газонами и бедные магазины с появляющимися время от времени тёмными лентами очередей. Номер писался химическим карандашом на ладони, и женщины упрашивали мальчишек во дворе за стакан газировки или мороженое встать рядом с ними, чтобы взять лишний десяток яиц. Очереди, хотя и не очень длинные, выстраивались даже за хлебом, который продавался и недалеко от нашего дома. За хлебом, как правило, мама посылала меня. В небольшом деревянном павильоне работали обычно двое продавцов, бравших деньги и теми же руками

хлеб, что всеми воспринималось как должное. Хлеб взвешивался на весах и выдавался, чаще всего, с маленьким довеском, который я съедал по дороге домой. Время было уже не голодное.

Во дворе мальчишки постарше и несколько семилеток (я в их числе) пытались мячом попасть в кого-то из перебегающих с места на место приятелей. После чего сумевший не промахнуться оказывался с большинством бегающих. Великовозрастные, ударяя мячом, громко орали: «Бей жидов! Спасай Россию!» Я ничего ещё не знал ни о черносотенцах, ни об их лозунгах и даже не догадывался, что я сам еврей. Услышав незнакомое слово, решил, что «жид» значит «жадный», и радостно вопил эти слова вместе со всеми.

В комнате у дедушки и бабушки висел на стене резанный из камня симпатичный, хитро улыбающийся божок из неведомой страны. Я не знаю, откуда он взялся, потому что помнил его всегда. Про себя я его называл Аберабегай. Это был мой секрет. Аберабегай был, конечно же, волшебник и мог творить чудеса. К нему я обращался за помощью, когда мне чего-нибудь очень хотелось, и он мне, похоже, покровительствовал. Ещё один волшебник родился в углу комнаты, в которой спали я с сестрой и папа с мамой. Переплёт окна бросал тень от уличного фонаря в угол под потолком, и получалась симпатичная светлая головка ребёнка, которого я называл Ангел Юдифь. Почему ангел, понять можно. Эта голова чем-то напоминала головы пухлых ангелочков Рафаэля, репродукции картин которого я уже видел. А вот почему к ангельскому лику добавилось имя ветхозаветной еврейской героини с обольстительной фигурой, о которой я мог узнать разве что во время путешествия в какой-нибудь музей, этого я не знаю. Третьим моим покровителем стала Черепаха Унамис. О ней я читал не то у Фенимора Купера, не то у Генри Хаггарда, и её волшебные возможности оказались не хуже, чем у остальной компании. Ведь чудеса, на самом деле, случаются только у тех, кто в них верит. Любой ребёнок непременно живёт в сказке.

Больше всего я радовался, когда вся наша семья отправлялась в гости на улицу Чехова. Когда-то эта старая московская улица называлась Малая Дмитровка, и после 1991 года ей вернули её историческое название, но для меня она навсегда осталась, как в детские

годы, улицей Чехова. Здесь жила семья родного брата моей мамы — дяди Лёни и его жены, тёти Иры. За столом, как правило, собиралось немало людей, но я больше всех любил Иру и Лёню. В этом бывшем доходном доме с шестью полуколоннами, построенном ещё в начале двадцатого века, было всё необычно. После стандартизированного убожества Текстильщиков восхитительным казался вход в подъезд, окантованный серыми глыбами гранита (на самом деле, как я узнал уже позже, это была искусно положенная штукатурка, имитирующая грубо обколотый гранит). За высокими дверями подъезда начиналась широченная лестница с деревянными перилами, по которой так интересно было быстро взбежать на второй этаж, где за дверью находилась огромная прихожая. Даже мой высокий папа казался не таким большим под этим, без малого пятиметровой высоты, потолком. За прихожей начинался коридор с дверями в большие комнаты близких родственников Иры. Непривычной величины ванна, туалет и, недалеко от них, комнаты соседей, которых я почти никогда не видел. У сестры Иры, тёти Шуры, в комнате ничего интересного не было, кроме подлинной акварели Максимилиана Волошина, но я тогда ещё о нём ничего не знал. После вкусного угощенья сидеть за столом, слушая разговоры взрослых, было скучно, и я просил разрешения у очень пожилой, но поразительно величественной и доброжелательной тёти Мани посидеть в её комнате. Здесь любопытнее всего было залезть по деревянной лестнице на небольшой ярус второго этажа, где под самым потолком находилась её библиотека. Сидеть на верхотуре, разглядывая иллюстрации старых немецких книг, каких-то книжек по истории и журналов, одновременно видя большое окно на улицу и всю уютную, раскинувшуюся где-то далеко внизу комнату, было замечательно.

О судьбах людей, живущих на улице Чехова в доме номер восемь, я узнавал понемногу, становясь старше и начиная интересоваться тем, что в детстве меня не занимало. Позднее о многом я узнал от моего племянника Юры Черкасова, которому Ира и Лёня приходятся бабушкой и дедушкой. Он не поленился порыться в архивах, чтобы та, ушедшая жизнь не растворилась во времени. Эту большую квартиру в 1918 году снял «в единоличное пользование» по разрешению местного «Совета» успешный, хорошо зарабатывавший инженер-химик Фёдор Иванович Благодатский. Не

очень удачливый в семейной жизни, похоронивший двух жён, он был замечательным отцом для своих четверых детей, для которых ничего не жалел и с хохотом таскал малышей в мешке по всей квартире, изображая Рождественского деда. Он любил устраивать славные вечеринки у себя дома в кругу коллег, весельчаков и кутил, таких же, как и он, азартных преферансистов. Если семейное предание верно, в числе его гостей бывали не только инженеры, но и поэты Есенин и Маяковский. Однажды по окончании застолья хозяин и гости были ошарашены тем, что воры, пробравшись через чёрный ход на кухню, унесли всю верхнюю одежду. После чего кухонную дверь обили железом и поставили стальные засовы. Но если от воров можно было принять меры, то от новой советской жизни спасения не было. По мере «обострения классовой борьбы» при переходе от нэпа к плановому хозяйству, начались гонения на дореволюционную техническую интеллигенцию. Фёдора Ивановича арестовали в 1928 году «за недоносительство». После его ареста старшую дочь, Елену, выгнали из техникума, а Бориса, Ирину и Шуру — из школы. Восстановиться в местах учёбы удалось с трудом. Советская Фемида отличалась непредсказуемостью. Через полгода Благодатского неожиданно освободили из Бутырской тюрьмы. В первый же день на свободе он продал хранившийся на чёрный день золотой портсигар, купил в бывшем Елисеевском магазине корзину деликатесов и на извозчике вместе с детьми приехал в Бутырскую тюрьму, где передал корзину сокамерникам. Это событие осталось в памяти его дочери Ирины Фёдоровны на всю жизнь. Вскоре Благодатского арестовали снова, потом отпустили и снова арестовали, а потом — был удачлив — только сослали в Кемерово. В Центральную Россию он смог вернуться в 1937 году, но, конечно, не в Москву. Жил он в Серпухове, время от времени навещая детей в квартире, которую уже давно, после первого же ареста, «уплотнили». По случайности, которую трудно назвать счастливой, жизнь Фёдора Ивановича Благодатского закончилась в Москве 5 апреля 1938 года, когда он в очередной раз приехал навестить детей. Рак желудка был осложнён начавшимся воспалением лёгких. Этому, без малого двухметровому, жизнелюбивому человеку было всего пятьдесят два года. Его родная сестра Мария Ивановна Едличко (тётя Маня, в комнате которой я с таким удовольствием рассматривал книжки), жившая с 1920 года в его квартире, позаботилась о детях брата. Свободно владея немецким, она была

преподавателем, старшим редактором издательства и автором ряда учебных пособий. Она прожила среди детей, внуков и правнуков брата до своей смерти в 1975 году. В этой обычной московской семье репрессии коснулись только отца. Из детей Ф. И. Благодатского погиб единственный сын, двадцатишестилетний Борис. В сентябре 1941-го он должен был уже демобилизоваться после срочной службы. За один день до начала войны тётя Ира получила от него письмо, написанное в Полоцке 10 июня 1941 года: «…Мы, т.е. весь полк, завтра 11 июня снимаемся с якоря. Новый наш адрес будет, по-видимому, близ города Лиды в Зап. Белоруссии (бывшая Польша), там мы разобьёмся лагерем. Оттуда напишу. Пока с поцелуем и приветом. Б. Благодатский». Это письмо оказалось последним. Его сестра Ирина написала ряд запросов, на которые получила стандартные ответы. Красноармеец Борис Благодатский пропал без вести. Таких как он, числившихся по официальным данным в качестве «неучтённых потерь» первых месяцев войны, погибших или пропавших без вести в боевых операциях при не поступающих сведениях от фронтов и армий, «выявлено» один миллион сто шестьдесят две тысячи шестьсот человек. Эта официальная цифра многократно занижена. Приведу лишь один факт, «озвученный» президентом В. В. Путиным в 2009 году: неизвестны имена шести миллионов воинов из девяти с половиной миллионов, находящихся в зарегистрированных братских могилах, которых около сорока семи тысяч на территории России и за рубежом.

В середине 50-х годов прошлого века я с отцом часто ездил на электричке с Ярославского вокзала Москвы на станцию Челюскинская, где была дедушкина дача. На платформах и в вагонах всегда были заметны безногие инвалиды, катящиеся на доске с четырьмя подшипниками. Они просили милостыню, и многие им подавали. Тогда покалеченных фронтовиков с медалями на груди было много, и они были привычны. Однажды я их не увидел. Что делалось в других городах, я не знаю, но в Москве проблема с этими инвалидами была решена как-то сразу. Каковы были тогда инвалидные дома, когда даже в Москве стояли, правда, не очень большие, очереди за чёрным хлебом, можете себе представить. Добровольно в них никто бы не поехал. Но никого ведь и не спрашивали. Советское руководство всегда мыслило масштабно, действовало без сомнений и было свободно от буржуазного гуманизма.

В этом подарке родителей были все страны мира, со своими знаменитыми людьми, королями и королевами, ландшафтами и красивыми зданиями, памятными датами, невиданными цветами и птицами и множеством иных занимательных вещей. На обложке большого красного альбома, украшенного географическим глобусом, было написано: «THE NEW WORLD WIDE POSTAGE STAMP ALBUM». К тому же в нём лежал пакетик разноцветных чужеземных почтовых марок с витиеватыми следами штемпелей. В 1956 году этот великолепный альбом в Москве вообще казался чудом. Он начинался цветной географической картой и картинкой, на которой мальчишка показывал свою коллекцию почтовых марок папе, маме и сестре, совсем как в нашей семье. В нём уже были изображения марок, и нужно было найти такие же, а рядом было место для любых других. Этот новенький американский альбом по просьбе отца был куплен для меня его американским коллегой в США. А в следующем, 1957 году в Москве с размахом проходил VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, когда летом появились в большом количестве иностранцы, новые автомобили и автобусы. После фестиваля началась невиданная прежде почтовая переписка. Таким образом, почтовые марки разных стран появились у многих. Филателия стала распространённым увлечением, и мальчишки во дворе обменивались марками. Всё это происходило в ранее закрытой от всего мира стране, где всё чужое и непривычное воспринималось насторожённо. Почтовые марки доказывали реальность существования других стран, культур, языков и традиций. Но в то время было невозможно даже мечтать о поездке за пределы своей страны.

Мне хорошо запомнился один эпизод. Сын ещё дореволюционного эмигранта из России Дэниел Шор,[1] впоследствии ставший известным журналистом, приехал в Москву в качестве американского корреспондента CBS. Его переводчиком был мой папа. Шор предложил ему поездку в США для помощи в систематизации русских материалов. Отец, конечно же, радостно согласился. Шор написал письмо в Управление по обслуживанию дипломатического корпуса с просьбой разрешить отцу поехать вместе

[1] Американский журналист Дэниел Шор (1916–2010), получивший в Москве эксклюзивное интервью у Н. С. Хрущёва, в своих воспоминаниях написал несколько добрых слов о моём отце. См.; Daniel Schorr. *Staying Tuned. A Life in Journalism*. New York. 2001. P. 80–81.

с ним в США на две недели. Папа описал маме беседу с чиновником УПДК:

— «Зачем вы попросили Шора пригласить вас поехать в США?

— Я не просил об этом. Шор предложил мне поехать вместе с ним для работы.

— А почему вы не ответили ему, что вы не хотите ехать?»

— Я смотрел ему в глаза, — рассказывал отец. — Ну что я должен был ему на это ответить?

Короче, поездка отца на родину, в логово империализма, не состоялась.

Возвращаюсь к маркам. В 1960 году, в свой день рождения, я получил от папы и мамы замечательную книжку Рудольфа Бершадского «О чём рассказывают марки». Прекрасно иллюстрированная и увлекательно написанная, несмотря на «советскую идеологию», она не только рассказала о марках, коллекционерах и многих занимательных событиях, но и заставила внимательнее вглядываться в собственную разросшуюся коллекцию, чтобы не пропустить что-то необычное и стоящее внимания. Уверен, что мой интерес к истории, искусству, географии и путешествиям вырос во многом под влиянием этой детской увлечённости, органично перешедшей в другую уже на всю жизнь.

На втором этаже здания гостиницы «Метрополь» в 60-х годах XX века находился замечательный очень уютный букинистический магазин, в который я стал регулярно ездить. Так вот, там я увидел старинную книгу в цельнокожаном переплёте с золотым тиснением на красном фоне корешка: МАРКА ТРИ КНИГ. Взяв её в руки из-за слова «МАРКА» и поразительной красоты, я увидел, что это напечатанное в Санкт-Петербурге в 1761 году сочинение Марка Туллия Цицерона «Три книги о должностях», переведённое переводчиком Академии наук Борисом Волковым. Эта книга прожила в моей библиотеке много лет. Я внимательно прочёл её всю и не только смог убедиться в правильном поведении Пушкина («Читал охотно Апулея, / А Цицерона не читал»), но и удостоверился в том факте, что слишком нарядные книги, как и слишком нарядные люди, чрезвычайно редко бывают столь же интересны внутри.

Иногда купленная у букинистов книга не только прочитывалась от корки до корки, но и заставляла задумываться о неизвестных мне людях и их судьбах. Например, вот эта: Поль Гиро,

«Частная и общественная жизнь римлян», со 107 рисунками в тексте (СПб.: Изд-во Л. Ф. Пантелеева, 1899). Хорошо иллюстрированный сборник, составленный французским историком Полем Гиро (1850–1907) из сочинений античных авторов и дополненный отрывками работ современных ему историков XIX века, увлекательно рассказывал о Риме и античной эпохе: о семье и воспитании, рабах и вольноотпущенниках, одежде и пище, лекарствах и погребениях, общественной жизни, развлечениях, войске и многом ином. Интересное французское учебное пособие было переведено на русский и пользовалось заслуженной популярностью. Но мой экземпляр был замечателен не только отличной сохранностью, но и карандашным автографом без даты и подписи: «Сія книга — единственный гонораръ мой за несколько статей, переведенныхъ для нея изъ Тацита, Цицерона и др.».

Экземпляр книги в качестве платы за переведённые статьи сам по себе вызывает грустные размышления. А тот факт, что эта книга в начале шестидесятого года уже не раз побывала на книжном рынке, почему-то наводил меня на мысль о том, что вряд ли судьба этого неведомого мне человека сложилась благополучно. Гораздо более удачливым людям, чем автору надписи на книге, редко удавалось счастливо пережить жуткие времена, наступившие в первой половине XX века в России.

Я бесконечно благодарен своим родителям за счастливое детство в отвратительное время, бывшее тогда в моей стране. Только теперь, уже старым человеком, много лет изучавшим историю советского XX века, я до конца понимаю, каким трудом, самоотречением и любовью оно было создано.

Когда купленное пианино было внесено и поставлено на своё место в комнате, я ещё не знал, что появление этого громоздкого предмета будет сильно портить мою жизнь. Мама немного играла и делала это с удовольствием, особенно когда к нам приходили гости. Слушать маму мне нравилось, но гораздо больше меня занимал проигрыватель, куда ставилось десять виниловых американских пластинок, которые автоматически сменяли друг друга. Я наслаждался песнями Бинга Кросби, великолепным джазом Луи Армстронга, Эллы Фитцджеральд, Бенни Гудмена и многим другим, но у меня никогда не появлялось желание научиться играть

на любом музыкальном инструменте. Это захотелось моей маме. Она живо объяснила мне, какая восхитительная возможность у меня появилась. Это же такое счастье: научиться играть просто для себя, понимать неизвестный мне пока язык нот. И какое я получу удовольствие, когда смогу впервые сыграть понравившуюся мне мелодию. Хотя ряд сомнений меня не оставлял, я был вынужден согласиться. Откуда ни возьмись появилась учительница музыки, приходившая два раза в неделю, и начались гаммы, упражнения, уроки и подготовка к ним. Скоро я уже тосковал от одного сознания их неизбежности. К тому же эти уроки были дополнительные к школьным. Моё свободное время, когда я возился с марками и читал книги, стремительно сокращалось. Я изо всех сил старался совместить мамино желание с собственными интересами в жизни, пока не понял, что дальше так продолжаться не может. Мама поставила мне условие. Я выучу и сыграю «Весёлого крестьянина», которого я только-только начал выдалбливать, и тогда, если не захочу, смогу больше не заниматься. Ещё недели через три я сыграл безо всякого удовольствия бодрую мелодию «Весёлого крестьянина», возвращавшегося с работы с какой-то излишней, натужной радостью. Хотя эту музыку помню до сих пор, желание подойти к инструменту у меня никогда в жизни не возникло. Так что музыканта, хотя бы любителя, из меня тоже не получилось.

Больше всего я любил читать. С того времени, как я себя помню, я постоянно канючил: «Мам, почитай». На одной из книжек, подаренных мне папой, он написал: «Научись сам читать, интереснее будет». Папа, как почти всегда, оказался прав. Скучная школьная «Азбука» вместе с первой учительницей Антониной Ивановной Масловой открыли мне ни с чем не сравнимый мир, который я вынужденно и крайне неохотно покидал из-за уроков, необходимости что-то делать или куда-то идти. Для того чтобы сегодняшнему человеку понять, с каким восторгом читались тогда «Три мушкетёра», как захватывали «Записки о Шерлоке Холмсе» или переживались приключения Робинзона Крузо, почему романы Майн Рида или рассказы Джека Лондона так сильно занимали воображение, а сказки А. Н. Афанасьева казались несказанно волшебней, чем в последующие времена, необходимо понять, что в пятидесятые годы ушедшего века интернета ещё не существовало, телевизора долгое время тоже. Даже когда телевизор появился в доме, этот

небольшой ящик с крохотным экраном и линзой, которая немного увеличивала изображение, при всей своей занимательности не мог конкурировать с книгами, потому что смотреть там особо было нечего. Хождение в кино пару раз в месяц и сравниться не могло со страницами, которые хотелось читать как можно скорее, и узнать, что же произойдёт дальше. В книгах существовал мир важнее и интересней обыденной жизни. Много лет спустя я прочёл поразившее меня точностью наблюдение французского историка Марка Блока в его книге «Апология истории, или Ремесло историка»: «Читатели Александра Дюма — это, быть может, будущие историки, которым не хватает только тренировки, приучающей получать удовольствие более чистое и, на мой взгляд, более острое: удовольствие от подлинности». Может быть, я, сам об этом не догадываясь, глотая книгу за книгой, предчувствовал свою будущую профессию.

Какое-то время мне почему-то казалось, что человек, написавший статью или книгу, разговаривает персонально со мной, и лишь тогда, когда мне этого хочется.

К некоторым книгам я не раз возвращался, перечитывая полюбившиеся страницы, а иногда и находил что-то новое. К примеру, открыв в очередной раз том Артура Конан Дойла, я остановился на 19 странице предисловия К. И. Чуковского, которое до этого времени торопливо и совершенно напрасно пропускал. Вот как оценил Корней Иванович талант автора: «Он не был великим писателем; его и сравнивать нельзя с такими гениями английской литературы, как Свифт, Дефо, Филдинг, Теккерей, Диккенс. Он был типичнейший буржуазный писатель, ни разу не дерзнувший восстать против «старого мира», с которым всегда оставался в ладу. Нигде в его книгах не видно ни тени протеста. Его Шерлок Холмс бесстрашно и упорно борется с десятками всевозможных злодеев, но ни разу не догадался спросить себя: почему же хвалёная английская жизнь порождает так много уголовных преступников?»

Корней Чуковский был талантливым писателем, переводчиком, критиком и литературоведом. Рассказывая детям о книге «Записки о Шерлоке Холмсе», изданной «Детгизом» в 1956 году, он, конечно же, не мог не понимать, что советская жизнь порождает уголовных преступников никак не меньше, чем «хвалёная английская». А Шерлок Холмс, если бы он задался вопросами о причинах множеств уголовных преступлений, превратился бы

в политика, моралиста или революционера, но перестал бы быть великим детективом, и книга о нём не стоила бы комментария такого замечательного писателя, как К. И. Чуковский. Что же касается Артура Конан Дойла, то литератор, создавший персонаж, живущий независимой от автора жизнью, как Дон Кихот, солдат Швейк, Остап Бендер и др., никак не может находиться в категории «типичнейший». Но Чуковский, как он это делал не раз в своей жизни, продемонстрировал свою лояльность к власти и соответствие высокому званию советского писателя.

Я никогда не был октябрёнком. Это сообщество ещё не было придумано, когда меня 1 сентября 1955 года привели в первый класс. Фасад красного кирпичного здания школы был украшен колоннами. До того как я попал сюда, я был нормальным, здоровым и жизнерадостным мальчишкой. Но со школьной фотографии смотрит остриженный под ноль, засунутый в гимнастёрку серого цвета с белым воротничком, сидящий за деревянной партой с «правильно» сложенными руками ребёнок дебильного вида. Каждый раз, когда я слышу восторженные высказывания о замечательном, высочайшего уровня, советском образовании, вспоминается лишь не забывшаяся с детства безысходная тоска. Единственная школьная учительница, оставшаяся в моей благодарной памяти, это моя первая учительница Антонина Ивановна Маслова, которая научила меня читать. Собственно, даже её мне больше благодарить не за что. В мой первый школьный день она умудрилась забыть меня около класса. Я попытался сам найти выход из школы, но не смог. Старшеклассница, увидев меня, плачущего, вывела во двор, где меня ждали встревоженные родители. В нескончаемых страницах прописей я выводил перьевой ручкой чернилами буквы так, как их нигде и никогда не пишут. Бесконечно скучные уроки в классе и домашние задания лишь отнимали у меня драгоценное время для чтения книг. Иногда, конечно, происходило что-нибудь запоминающееся. Во втором классе за партой передо мной сидел мальчик, который, повернувшись ко мне, открыл перочинный нож и спросил меня: «Хочешь, пырну?» Я с ним не ссорился и не понял, что он сказал. А он поднял руку и ударил меня ножом в правую кисть. Кровь пошла очень сильно, и я быстро потерял сознание. Мальчика этого я больше никогда не видел. На память о нём у меня остался шрам на правой руке.

Таких, как он, мне встретилось в школе не так уж много, но детский антисемитизм, как следствие родительских воззрений, был явлением совершенно ординарным. С пятого класса меня перевели в соседнюю школу, без колонн на фасаде, но всё остальное было почти таким же. Тот факт, что математика, физика или химия не оставили во мне никакого следа, объясним. Я, конечно же, гуманитарий. Что, к слову сказать, не помешало мне много позже разобраться в конкретных вопросах химии и математики, когда мне это потребовалось для собственной работы. Но, что поразительно, среди всех моих учительниц я не запомнил ни одной, обучавшей истории. Ведь это же надо было суметь преподать этот предмет так, чтобы, кроме некоторых текстов из учебников, в памяти не осталось вообще ничего, ни одного хоть чем-то замечательного урока. Изучение литературы превращалось в писание сочинений по раскрытию «образов», «идеи произведения», чтение параграфов учебника и выдалбливание стихов, которые я для себя открыл по-настоящему много позже, и школа к этому уже не имела никакого отношения. Уроки английского языка, как они проводились с нами два раза в неделю, вероятно, и были рассчитаны на то, чтобы после средней школы честно писать: «не владею». О «трудовом воспитании», политинформациях, пионерско-комсомольской жизни и прочем маразме умолчу. После восьми лет обязательной, унылой и бессмысленной зубрёжки и экзаменов я категорически отказался продолжать учёбу в общеобразовательной школе. Устроившись на работу, я поступил в школу рабочей молодёжи (ШРМ). Аббревиатура знающими людьми расшифровывалась «Штарайся Работать Меньше». Эту школу я благополучно закончил, иногда прогуливая, а чаще просто отсиживая положенное время на уроках, ухитряясь заниматься своим самым любимым делом — чтением. Единственная «четвёрка» в моём аттестате была по истории и то только потому, что экзамен каким-то чудом я сдал на пять, и моя итоговая тройка выросла на один балл. Позже, когда это уже не имело для меня значения, я узнал, что существовали совсем другие школы, с приставками «спец». Но было их ничтожно мало, и в такой школе мне учиться не пришлось.

Чтобы обучаться в вечерней школе, необходимо было где-то работать. Устроиться официально в 15 лет было не так-то просто. В то время я увлекался кукольным театром и, хотя и недолго, мечтал стать актёром. Я попытался получить работу в Центральном

театре кукол. Мой отец сказал, что в моём заработке семья не нуждается, и посоветовал мне предложить работать бесплатно, ведь, кроме справки в школу с места работы, мне ничего не нужно. С тем я и пришёл в Центральный театр кукол. Получив аудиенцию у знаменитого режиссёра Сергея Владимировича Образцова, я попросил взять меня рабочим сцены. Наша беседа была короткой. Образцов поинтересовался моим возрастом и отрицательно покачал головой. Тогда я, воспользовавшись своим главным козырем, предложил работать бесплатно. Образцов расплылся в улыбке и сказал, что не возражает, если я стану работать во время детских спектаклей. На мой вопрос, получу ли я официальную справку с места работы, реакция была негодующе бурной:

— Так что же вы мне голову морочите?! Вам не работа, а справка нужна!

Тогда уже разозлился я:

— Мне нужна работа. Но я должен иметь возможность вечером учиться!

Мы расстались так же быстро, как и познакомились. На короткое время мне удалось устроиться в Московский театр кукол. Однако первым моим настоящим местом работы, где я в должности рабочего-столяра проработал два года, стал «Павильон лучших образцов товаров народного потребления», находившийся рядом с Кремлём в красивом старинном здании на улице Куйбышева, которая теперь снова называется Ильинка. В этом доме теперь разместилась Торгово-промышленная палата России. Сюда меня взяли по просьбе моего деда, отца мамы, Бориса Ильича Коренблата.

Я его любил. В моей памяти дедушка остался улыбающимся, совершенно лысым стариком, с лихо подкрученными усами, неспешно пьющим чай из стакана в старинном серебряном подстаканнике, украшенном несущейся тройкой с лихим ямщиком, — подарком его близких друзей. Всегда чем-то занятый в своём сарае на даче или в закутке-мастерской в московской квартире, он был влюблён в свои многочисленные инструменты — свёрла, отвёртки, стамески, плоскогубцы, тиски, токарный станочек, россыпи всевозможных болтов, гаек, гвоздей и шурупов, которые он собирал, сортировал и нежил всю свою долгую жизнь. В Текстильщиках я ходил выбрасывать мусор не с обычным ведром, как все, а с изобретённым и сделанным дедом собственноручно

огромным фанерным ящиком, расширенным внизу, больно лупившим меня по ногам и открывавшимся с помощью задвижки снизу, после чего весь мусор вываливался в контейнер. Дед гордился созданным им станком для заточки микротомных ножей, использовавшихся медиками. Он очень хотел приохотить меня к технике и был доволен, когда я научился работать на токарном станке. Во времена моего детства я не раз оказывался свидетелем нешуточных споров деда и отца. Спорили они о политике партии, сталинских временах, социализме, справедливости и многом другом. Дед был твёрдым сторонником мысли, что коммунистическая партия всегда права, отец приводил свидетельства обратного. Мне было сложно разобраться, кто из них прав, но уже тогда я отчётливо понял, что на любое событие существуют разные точки зрения и не стоит ничего принимать на веру.

Дедушка, Борис Ильич Коренблат, которого я так близко и хорошо знал, был человеком иной эпохи. Он родился в 1887 году в городе Бендеры Бессарабской губернии, которая потом превратилась в Молдавскую ССР, в зажиточной семье Якоба Коренблата. В советских личных документах деда, имевшего при рождении имя Берк, именовали Борисом Ильичом, по российской традиции изменив еврейские имя и отчество. Мать деда умерла родами, и его отец женился снова. С мачехой отношения не сложились, и дед, бросив учёбу в четвёртом классе Городского училища, ушёл из отцовского дома. Был слесарем в мастерских, оружейником в армии, успев отслужить срочную службу ещё до Первой мировой войны; потом работал слесарем на судостроительном заводе «Наваль» в украинском городе Николаеве. Там он, не только не спросив разрешения у своего отца, но даже не поставив его в известность, женился на моей бабушке Евгении Владимировне. У них родились сын Леонид, дочь Ева, умершая в младенчестве, и дочь Елена, впоследствии моя мама. Дед участвовал в забастовках и в установлении советской власти в Николаеве. После начала гражданской войны находился в подполье, где в 1919-м вступил в РКП(б). Вся жизнь деда была связана с техникой и производством. Он работал старшим механиком, начальником цеха, директором завода. В 1929-м был направлен на учёбу в Москву. Через два года, вошедший в число членов правления московского Клуба красных директоров, он получил возможность остаться на

работе в Москве, где, в частности, работал главным механиком на строительстве первой очереди московского метро. Его судьба сложилась на удивление благополучно. Дед избежал участия в «антипартийных группировках», его не коснулись и последующие репрессии. Советские анкеты содержали много каверзных вопросов. Работая в архивах, я прочёл их немало. Читал я и анкету, заполненную моим дедом. Он, разумеется, написал правду, но не всю. Из анкеты следовало, что его отец был рабочим-котельщиком, в 1895 году ставшим владельцем кузнечной мастерской по ремонту сельхозинвентаря и имевшим несколько подсобных рабочих. Но в 1909-м отец ослеп, лишился мастерской и уехал с женой в Америку, где в 1925 году умер.

Якоб Коренблат, конечно, не входил в число самых известных и богатых людей Бендер, но в его большом доме с электричеством и водопроводом можно было кататься на велосипеде. Его мастерская действительно просуществовала сравнительно недолго, но была далеко не единственным источником его доходов, и ослеп он только на один глаз. Якоб успешно занимался торговлей и процветал до войны 1914 года. Одна из его дочерей от второго брака училась на его деньги в Швейцарии, а потом получила врачебную практику в США. Именно к ней поехал в Америку Якоб Коренблат с женой после конфискации всего своего имущества большевиками, ненадолго пришедшими в Бендеры. В США Якоб Коренблат благополучно прожил до своей смерти 6 ноября 1933 года.

Так вот, в декабре 1936 года дед попал на работу в не раз менявшую название организацию, ставшую известной как Всесоюзный Постоянный Павильон лучших образцов товаров народного потребления при Всесоюзной Торговой Палате, где он и служил до пенсии и куда время от времени приходил и после неё. Он умер в Москве в 1965 году, и его прах вместе с прахом его единственной жены покоится в колумбарии элитарного Новодевичьего кладбища, ставшего своеобразным пантеоном советской эпохи.

Организация, в которую меня приняли на работу, могла существовать только при социализме. Потому как ни в какое иное время никому не пришло бы в голову «внедрять» всевозможные иностранные товары — от утюгов и торшеров до телевизоров или соковыжималок — в отечественное производство. Моя работа заключалась в погрузке-разгрузке грузовиков и помощи опытному плотни-

ку Тимофею Петровичу в изготовлении ящиков для отправки экспонатов. Ещё я должен был находиться на подхвате у инженеров, большей частью женщин, когда требовалось что-то поднять или перенести. Однажды меня попросили подержать маленький переносной телевизор, вместе с которым я и попал на фото, напечатанное в газете «Советская торговля» 20 марта 1965 года. Меня же в числе иных сотрудников отправляли на работу в колхоз или на овощную базу, что являлось ещё одной яркой приметой социалистической эпохи. Работа прекрасно сочеталась с занятиями в вечерней школе, была не очень тяжёлой и даже оставляла немного времени на чтение. Именно там я получил важный жизненный урок.

Незадолго до нового 1966 года я пришёл на работу, ещё не зная, какое удовольствие доставлю своим коллегам. Весь этот день все кому не лень подходили ко мне, радостно скалясь. Знакомый инженер, встретивший меня с «Комсомольской правдой» в руке, ухмылялся: «Шикман, теперь ты, как порядочный человек, просто обязан на Тамаре жениться». И показал мне, семнадцатилетнему мальчишке, напечатанную фотографию…

Сравнительно не так давно в обеденный перерыв я сидел на скамейке с одной из сотрудниц, держа её за руку и даже не догадываясь, что привлеку чьё-то внимание. Знаменитый фотокор «Известий» Виктор Ахломов, которого я не видел ни тогда, ни потом, сделал фотографию, не только отмеченную на международном конкурсе, но и прокомментированную в газете так:

> В. Ахломову удалось добиться удачи в одной из сложнейших сфер фотографического искусства — в жанре репортажной психологической съёмки. Его «Объяснились» — удивительно естественный снимок, поражающий точно уловленным состоянием, глубокой характеристичностью персонажей. Главная опасность при съёмках такого рода — потеря или просто притупление чувства меры. Поэтому так часто грешат подобные снимки эмоциональной передержкой, слащавостью, сентиментальностью. Всего этого счастливо избежал В. Ахломов, заслуженно награждённый 3-й премией.

Когда в этот день я вернулся домой, эта, большого формата, фотография уже была и там. Оказывается, отец, работавший тогда переводчиком московского корреспондента американской

Columbia Broadcasting System, позвонил в «Известия» Ахломову, сказал, что на опубликованной фотографии — его сын, и попросил прислать фото ему. Где только не появлялась потом эта фотография под разными названиями: «Объяснились», «Двое», «Два настроения», «Размолвка». Однажды я увидел её на обложке книги Н. Атарова «Не хочу быть маленьким». Но забавнее всего эта фотография была напечатана в журнале «Здоровье», где, не мудрствуя лукаво, заретушировали мою сигарету до полного исчезновения, что не мешает мне бессмысленно держать руку у рта. Вообще-то этот снимок был далеко не первым и не последним в СССР, благодаря «ретуши» получившим новую, интересную жизнь.

Вскоре у меня появилась другая работа. С девушкой Тамарой я никогда больше не встречался и ничего не знаю о её судьбе. Но я навсегда запомнил: если я не замечаю кого-то, это вовсе не значит, что не замечают и меня.

Где-то в середине 60-х годов, впервые оказавшись в Ленинграде ещё вместе с родителями, я побывал в Шлиссельбургской крепости, в камерах, где десятилетиями, без надежды выйти на свободу, сидели, умирали или сходили с ума народовольцы. То, что я увидел, позволило мне впоследствии прочувствовать слова Веры Николаевны Фигнер: «Когда часы жизни остановились». Эти казематы я вспоминал, читая купленные у букинистов книги, напечатанные на плохой бумаге, с воспоминаниями бывших политкаторжан Николая Морозова, Веры Фигнер, Михаила Фроленко, Михаила Новорусского и многих других. Меня восхищала их жертвенность, честность, свободолюбие и способность жить согласно своим убеждениям. Немного позже я открыл для себя книги мастера исторической прозы Юрия Владимировича Давыдова, увлекательно написавшего об этих людях и их времени. Позднее я познакомился с литературоведом трудной судьбы Евгенией Александровной Таратутой, подарившей мне свою книгу «С. М. Степняк-Кравчинский — революционер и писатель», написанную с использованием обширного архивного материала. В инскрипте: «Дорогому Анатолию Павловичу с пожеланием радости» — она вписала цитату из сочинения её героя: «Будь верен себе, и ты никогда не познаешь угрызений совести, которые составляют единственное истинное несчастие в жизни». И примерно в это же время я прочитал «Мои воспоминания» художника

и деятеля культуры Александра Бенуа. О тех самых, восхищавших меня народовольцах он писал как о людях, занимавшихся вполне бездарным делом, которое его, Александра Бенуа, не монархиста, не политика, никак и ничем не привлекало. Все построения народников, всё их понимание происходящего сметались как паутинка человеком, жившим в это же время совершенно иными ценностями. Вот так, не очень быстро, но на многих конкретных примерах приходило понимание исторической реальности, оказавшейся несоизмеримо сложнее моих о ней представлений.

Владимира Высоцкого я видел только раз, в театре на Таганке в спектакле «Десять дней, которые потрясли мир» в 1965 году. Билеты было не достать. Мой отец в это время был переводчиком у очередного американского журналиста, работавшего в Москве. Так получилось, что американец почему-то не смог приехать в театр. Отец сразу же позвонил мне, и я успел получить билет, который революционный матрос насадил на штык у входа в театр. К тому же и сидел я, как никогда в жизни, во втором ряду партера, у самой сцены. Так и удалось мне совсем рядом увидеть и услышать Высоцкого. Знакомство с членами его семьи произошло много позже.

В знаменитой московской школе № 45, где директорствовал Леонид Исидорович Мильграм, одно время секретарём работала Татьяна Высоцкая. К тому времени она уже развелась с сыном Владимира Высоцкого Аркадием. В начальной школе учились их дети, Наташа и Володя — внуки Владимира Высоцкого. С ними я не работал, потому что преподавал историю старшеклассникам. Но с Татьяной в школе мы виделись часто и были в дружеских отношениях. Однажды дети вместе с мамой приехали к нам в гости. У меня сохранились фотографии этой встречи. Дурачившийся, строивший рожи Вовка и восьмилетняя, симпатичная, улыбчивая Наташа, в те годы писавшая такие, к примеру, стихи:

К НОВОМУ ГОДУ КОЗЫ

Я на кухне сижу
И книжку держу.
Про что эта книжка,
Сейчас расскажу.

Здесь нарисован
Козёл симпатичный:
Рога умилительны,
Хвост энергичный.

Он держит в зубах
Аппетитный цветок,
И аппетитно
Колышется рог.

Вдруг подмигнул он мне
Жёлтеньким глазом
И поделился
Печальным рассказом

О жизни своей
Козлиной несчастной,
О козочке Машке,
Любимой, прекрасной,

Как резво скакал он
Под диким кустом,
И козочке Машке
Махал он хвостом.

Его вдруг поймали,
Семёном назвали,
Заставили сено
В сарае жевать

И глупых мальчишек
На санках катать,
Чтоб вольную жизнь
Не смел вспоминать.

Вот годы прошли,
И хвост поседел,
Рога притупились,
И глаз потускнел.

Он в книжку попал,
Меня увидал
И эту историю
Мне рассказал.

1.01.91

Татьяна и подарила мне впервые изданный в Москве в 1990 году двухтомник Владимира Высоцкого, в который вошли его избранные песни, стихи, проза и драматургия. Он был напечатан в количестве пяти тысяч экземпляров за счёт средств его отца Семёна Владимировича Высоцкого, с его предисловием и отличными иллюстрациями Михаила Златковского. Мой экземпляр замечателен дарственной надписью: «Моим правнукам Наташеньке, Володе и их маме Татьяне! В память о моём сыне и их дедушке Владимире! С любовью и добром! С. Высоцкий. Москва, 25 января 1991 года». Почему-то Татьяна не захотела сохранить эти книги у себя. Позже Татьяна вместе с детьми эмигрировала в США. Через Мильграма до меня доходили редкие новости о них. Татьяна вышла замуж. Вовка стал настоящим американцем. Наташа поступила в университет. Я встретил Татьяну с её мужем в Москве в числе пришедших на похороны и поминки Л. И. Мильграма. Много позже, уже находясь в Америке, я увидел в интернете фотографии с еврейской свадьбы Наташи Высоцкой в Нью-Йорке, взявшей еврейское имя — Наама. Ещё позже мы стали с ней друзьями в Фейсбуке. У неё восемь чудесных детей, и она счастлива в своей большой семье. Интересно и непредсказуемо складываются судьбы книг, а ещё более удивительны судьбы людей.

Осенью 1966 года я решил переменить род деятельности, став учеником, а потом и шофёром третьего класса на автобазе Мосстройтранса в Текстильщиках, недалеко от дома. Я ездил по тогда ещё почти свободным от машин московским улицам на бортовом грузовике, в том числе и по старинной улице Арбат, которая ещё не догадывалась, что станет пешеходной. Возил стройматериалы для строящейся гостиницы «Россия» и представить себе не мог, что доживу до времени её сноса. Мою шофёрскую карьеру прервал автобус, зад которого слегка испортил капот моего грузовика. Местом работы, с которого меня забрали на военную срочную службу, стала Библиотека имени Ленина. Я успел поработать

младшим библиотекарем лишь два месяца, но полюбил это книгохранилище на всю жизнь, даже не предполагая, что много лет спустя здесь будут храниться написанные мной книги. Каким-то странным образом разрозненная мозаика моих юношеских лет сложится впоследствии в завершённую картину, в которой каждый её фрагмент получит свой смысл.

Чередой жизненных удач началась моя срочная служба на флоте, хотя поначалу ничего хорошего она мне не сулила. Меня призвали 13 июня 1967 года на четыре года. Официальный срок службы исчислялся только с января, поэтому полгода я должен был служить «за компот». Четыре с половиной года несвободы для человека, вовсе не собиравшегося становиться профессиональным военным,— тяжёлое испытание. В Москве осталась любимая девушка и друзья, понятная и привычная жизнь. Учебный отряд под городом Ломоносовым (бывшим Ораниенбаумом) запомнился лишь муштрой, политзанятиями и вечным голодом. Помню, что когда появились какие-то деньги, я смог купить батон в ларьке и съел его целиком после обеда. Месяцы обучения наконец-то закончились, и меня отправили служить в Севастополь. Первое, что поразило меня, это то, что хлеб свободно лежал на столах, и кормили досыта. Не хватало, конечно, вкусного и сладкого. Но и эта проблема, когда я научился немного зарабатывать, была решена. Дедовщина (на флоте старослужащих называли не «деды», а «годки») проявлялась лишь в том, что начинавшие службу «салаги» должны были выполнять всю тяжёлую и грязную работу. Никаких иных притеснений не существовало. Самым тяжёлым и мучительным на службе было чувство несвободы.

Первая удача свалилась на меня в год призыва. Благодаря военной реформе 1967 года, срок был не только сокращён на год, но и стал считаться с реального начала службы. Нависшие надо мной тяжёлые четыре с половиной года внезапно превратились в три. И это везение оказалось только началом. Счастье обрушилось на меня Ниагарским водопадом.

Моя первая любовь сообщила мне в письме, что она выходит замуж. Незадолго до этого я получил от неё бандероль с книгой В. М. Быкова «Джек Лондон» (М.: 1964), на форзаце её она написала: «Милый Толя, если ты не встречал эту книгу, то она будет ин-

тересна для тебя, ну а если когда-то ты уже прочитал её, то береги на память обо мне. В. П. 23.04.68». Отец В. П. был литературоведом, сервильным литературным чиновником, которого я видел лишь один раз, да и то мельком. Поэтому о нём я ничего рассказывать не стану. Его дочь была знакома со мной с детства, будучи соседкой по даче. Она любила читать, была хороша собой и обаятельна. Я, конечно, тогда очень переживал, не догадываясь, что первая любовь потому так и называется, что весьма редко становится настоящей и имеет будущее. Я встретился с В. П. много лет спустя. Она была всё так же очаровательна, а я понял, как мне повезло, что эта женщина осталась для меня только первой любовью. Может быть, поэтому, как она и хотела, я бережно храню подаренную ею книгу.

Огромной удачей обернулось для меня и место расположения моей воинской части. Всего в пяти минутах ходьбы находилась севастопольская библиотека имени С. Н. Сергеева-Ценского. Я открыл для себя русскую классику, не изуродованную школой. Гигантский мир Пушкина, Гоголя, Чехова, Куприна, Короленко, Льва Толстого, Бунина стал частью моей жизни. Дело в том, что хотя я числился специалистом по ремонту радиолокационных станций надводных кораблей, и, как это было записано в моём военном билете, именно по этой специальности меня надлежало использовать в военное время, я к этим станциям даже близко не подходил. Было бы странно, если бы привычная ложь советской жизни отсутствовала в вооружённых силах. На промозглом севастопольском ветру, рядом с морем, под снегом или дождём, я грузил совковой лопатой в тачку сброшенный самосвалом лежащий горой уголь и тащил его в кочегарку. Забрасывать этот уголь в топку и чистить печь от шлака было моей работой большую часть года. Я мог заниматься этим днём или ночью, и в это время был полностью предоставлен сам себе. Огонь полыхал в печи, а я сидел рядом на огромной отопительной трубе и читал, отрываясь от книги лишь для забрасывания в топку очередной порции угля. Впрочем, даже это восхитительное время от осознания собственной несвободы не спасало!

Вскоре после окончания первого года службы, летом 1968 года, я испытал ошеломительное чувство, увидев во флотской газете «Флаг Родины» свой лирический этюд «Море и небо», под которым было напечатано «Матрос А. Шикман». Эту первую публикацию

(как и все мои последующие в Севастополе) я никогда не включал в список моих печатных работ по причине откровенной литературной слабости. Но тогда моё счастье не омрачал даже вставленный редактором инородный по стилю и смыслу абзац: «Экипаж сильнее стихии, крепче шторма. На «товсь» находятся ракетчики. На каждом боевом посту готовы выполнить приказ». С этого лета началось моё постоянное сотрудничество в газете, и я даже получил возможность немного позаниматься в школе военкоров. Регулярно получаемые мной авторские гонорары позволяли иногда тешиться сгущёнкой и давали возможность приобрести интересные работы местных художников в художественном салоне Севастополя.

Среди сослуживцев, с кем свела судьба в Крыму, самым замечательным был Лёша Галенко. Он попал на флот из хутора Почтового Ростовской области. Парню из простой крестьянской семьи родители в детстве запрещали читать книжки, которые, по их мнению, отвлекали сына от полезной работы. Повзрослев, он жадно читал всё, что мог достать. Испытав восторг от открытой им европейской классической литературы, он часто рассказывал о любимых книгах и расспрашивал меня об их авторах. Он вообще тянулся к образованию, которого был лишён по жизненным обстоятельствам. Мы крепко подружились. Приветливый и открытый, он понравился мне своей душевностью, серьёзностью и любовью к фотографии.

Ею он занимался со страстью. Ему я обязан самыми лучшими фото, в том числе и времени знакомства с моей будущей женой. После службы он вернулся домой. Вскоре женился, растил двух дочерей. Работал много и тяжело, в том числе и в шахте, где подорвал здоровье. Ему ни разу не пришлось летать на самолёте. Он никогда не бывал за границей. Один раз Лёша приезжал ко мне в Москву. Один раз я свалился ему как снег на голову, когда находился недалеко от него в командировке от журнала «Сельская молодёжь». Время службы в Севастополе осталось для него самым значительным и замечательным в жизни. Однажды, где-то в начале двухтысячных, он по телефону спросил меня, хотел бы я хоть на месяц-два оказаться снова в Севастополе и быть матросом. Я засмеялся и сказал, что нет. После службы моя жизнь была более чем насыщена и интересна. Лёша ответил: «Я бы не отказался». Мы переписывались и разговаривали по телефону с ним до его смерти от рака в 2013 году.

Он дожил до 65. Конечно, по российским меркам это немало, но я давно перестал оценивать жизнь по российским меркам.

Самое чудесное из того, что со мной произошло в годы военной службы, была эта встреча. Она сидела на склоне холма и читала книгу Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». Обратил на неё внимание не я, а шедший со мной рядом Юрка Русинов, который считал, что никогда не нужно проходить мимо возможного развлечения. Беседу по-одесски образно начал он, потому что у меня настроение после письма В. П. было отвратительное, и никакие знакомства меня не интересовали. Я посмотрел на неё, лишь услышав, что она приехала из Москвы. Наконец-то я увидел свободного человека из города, по которому я так скучал. Юра Русинов отошёл в сторону. На следующий год Елена приехала в Севастополь, чтобы стать моей женой. Недавно мы отметили нашу золотую свадьбу. Каждый раз, когда я предлагаю моей жене выпить «за наше случайное знакомство», я слышу от неё трепетные слова: «Убью гада!» Понять её можно. Прожить столько лет со мной — настоящий подвиг. Но её мечта никогда не сбудется. Никто не знает, где сейчас Юрка Русинов, да и жив ли он вообще.

«На свете счастья нет, но есть покой и воля». Эта знаменитая строка не совпадает с моим опытом. Никакого покоя я никогда не имел, не знал, да и не стремился к нему. Ошеломительное ощущение свободы я почувствовал лишь раз, уезжая на поезде из Севастополя домой, в Москву, наконец-то освободившись от трёхлетней срочной службы на флоте. Какое-то время я ещё радовался этому состоянию, хотя яркое чувство независимости уже уходило. А вот счастье я испытал не раз. Как же оно было сильно, если я, седой старик, помню свой восторг, проснувшись в четвёртый день рождения и увидав разложенные рядом с кроватью родительские подарки: паровоз и вагоны железной дороги, которыми я потом никак не мог наиграться. Что уж говорить о взаимной любви, рождении дочери, вышедшей в свет первой книге… Просто счастье — чувство сильное и короткое. Может быть, поэтому его всегда мало.

Весной 1970 года я вернулся в Москву после военной службы. Неделю я просто отдыхал и наслаждался жизнью вместе с Еленой. Мы ходили в любимые музеи и ездили по интересным местам

Подмосковья. Одна из наших поездок оказалась необычной хотя бы потому, что у меня внезапно появился шанс стать православным священником. Мы приехали в Загорск (в 1991 году переименованный снова в Сергиев Посад) посмотреть Троице-Сергиеву лавру. Меня интересовала не только архитектура. До этого я неоднократно слышал, что в духовной семинарии люди получают серьёзную подготовку по философии, психологии, истории, искусству. Разговорившись с каким-то стариком-монахом, я услышал следующее бесспорное доказательство бытия божьего: «Дует ветер. Дождь идёт. Лето сменяется осенью. Почему же всё это происходит? А? А вообще-то я человек неучёный. Вы поговорите в духовной семинарии. Там люди грамотные». После чего открыл ворота, объяснив, как пройти. Пообещав жене, что скоро вернусь, я вошёл в помещение семинарии и, поднявшись по роскошной лестнице мимо развешанных по стенам больших картин на религиозные темы, оказался в канцелярии, где увидел молодого красивого священника. Не успев произнести ни слова, я узнал от него, что пришёл поступать в духовную семинарию, и не стал спорить. Это было первое место в Советском Союзе, где никто не поинтересовался моей национальностью и все вопросы решались легко и быстро. Белые ровные зубы батюшки не исчезали за широкой улыбкой:

— Вы крещёный? Нет? Ничего. Окрестим. Женаты церковным браком? Ничего. Обвенчаем. В армии служили? Очень хорошо. Где вы сейчас работаете? Ещё не устроились? Это замечательно! И не устраивайтесь. Так вы к нам пришли, яко на воздусях, а если пойдёте работать, людей на производстве станут ругать, что вас к нам отпустили. Надо же и их пожалеть…

До сегодняшнего дня у меня сохранились «Правила приёма в Московскую духовную семинарию на 1970–71 учебный год». И я смог убедиться в том, что требования к образовательному уровню поступающих вряд ли дают возможность для подготовки будущих интеллектуалов.

1. Духовная семинария — среднее специальное учебное заведение Московской Патриархии, готовящее священнослужителей, церковнослужителей и церковных работников Русской Православной церкви. Срок обучения в семинарии 4 года.

2. В духовную семинарию принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие среднее образование (как

исключение, в семинарию могут быть приняты с 7-летним образованием)

3. Поступающие в 1-й класс семинарии подвергаются приёмным испытаниям. От поступающих требуется твёрдое и осмысленное знание наизусть следующих молитв: (перечисляются около 30).

Поступающие должны хорошо читать по-славянски и грамотно писать по-русски.

Далее идёт список необходимых документов и образец анкеты из 11 пунктов, заполнить которую не составляет труда никому.

Всем учащимся предоставляется бесплатное питание и общежитие. Выдаётся стипендия от 15 до 25 рублей, в зависимости от успеваемости.

Я поступил в другое учебное заведение. Впрочем, слово «поступил» не совсем точно объясняет произошедшее. Дело в том, что романтическое восприятие действительности, влияние книги Джека Лондона «Мартин Иден» и воспоминания о школьных временах позволяли мне с идиотской уверенностью заявлять Елене, что не стоит без толку тратить время в институте. Я заработаю на жизнь физической работой, а вечерами буду писать книги. Так что «поступила» меня Елена. Она героически вдалбливала в меня школьную программу, подсказала на пальцах в приоткрытую дверь год начала Крымской войны и совершила невозможное — я стал студентом вечернего отделения исторического факультета педагогического института, который сейчас носит гордое звание университета. Парадоксально, но из всего нашего курса лишь двумя своими выпускниками ныне гордится на своём сайте МГПУ — Александром Ратнером и мной. В этом учебном заведении мне удалось встретить двух преподавателей, оставивших в моей жизни добрый след. Один из них, профессор Эдуард Николаевич Бурджалов, специалист по Февральской революции в России, написал для меня первое в моей жизни «отношение» в архив для работы над курсовой по одному из сюжетов истории XVIII века. Второй — знаток русского средневековья Владимир Борисович Кобрин. Он читал у нас курс лекций «Вспомогательные исторические дисциплины». Меня он поразил не только эрудицией и умением

обращаться со студентами, но и своими редчайшими человеческими качествами. Для меня он стал образцом человека порядочного, нравственного, влюблённого в своё дело. Даже моя борода выросла из этого студенческого обожания. Позже выяснилось, что он был университетским однокурсником знаменитого директора московской школы № 45 Леонида Исидоровича Мильграма, с которым я познакомился много лет спустя. Я не раз встречался с Кобриным, уже работая в 45-й школе, и получил от него в подарок книжку об Иване Грозном, которую, в числе немногих из моей библиотеки, привёз в Америку. В институте я познакомился с моим лучшим другом — Александром Ратнером. С ним были связаны многие исследовательские и журналистские работы. Ещё один товарищ — Юра Шишкин — был моим соавтором в написании стихов фривольного содержания, которыми мы спасались на лекциях по научному коммунизму. Но кроме этих людей вспоминать мне особо некого и нечего, а уж говорить о том, что благодаря полученным здесь знаниям я стал настоящим историком или приобрёл педагогические навыки, просто смешно. Моё образование было совершенно обычное, рядовое, советское.

Мы с Леной снимали комнату, в которой чаще всего только ночевали. После замужества Елена перешла на вечернее отделение Экономико-статистического института, а я, поступив на вечернее, устроился подсобным рабочим в Первую образцовую типографию, носившую имя сталинского приспешника А. А. Жданова. Я спал четыре с половиной или пять часов в сутки, кроме воскресенья. Мой рабочий день начинался в семь утра, поэтому к половине шестого я уже должен был подъехать на автобусе к метро, чтобы в числе первых войти в только что открытые двери. В цехе подготовки бумаги я переодевался в робу, мне давали квитанцию на почти двухметровую кипу бумаги, сложенную на платформе. Под неё я подгонял ручную тележку, рывком отрывал платформу от пола и тянул к лифту, спускавшему меня вниз. По душному плохо освещённому длинному подвалу с выбитыми плитками на полу я тащил около тонны бумаги до другого лифта, который поднимал меня в печатный, или офсетный, цех. Налегке быстро возвращался обратно, где меня ожидала новая платформа. Репинские бурлаки, по сравнению со мной, находились на курорте. Моя роба немного просыхала только во время обеда, который, как правило, состоял

из булки (бывшей «французской», ставшей «городской» во время борьбы с низкопоклонством перед Западом) за 7 копеек и стакана воды из-под крана. Обед в городской столовой стоил около рубля, и я его себе позволял весьма редко. Сэкономленные деньги были мне необходимы для покупки книг. После обеда моя работа продолжалась до трёх. Потом я шёл в душ, переодевался в свою одежду и ехал в институт на занятия. Домой я возвращался поздно ночью, ел и проваливался в сон. В институте я с пониманием слушал истории о капиталистической эксплуатации трудящихся.

Двадцать семь лет спустя я смотрел цикл телепередач «Намедни», в которой ведущий Леонид Парфёнов представлял историю СССР год за годом, обращая внимание на моду, песни, символы и прочее, иногда с элементами «стёба». Ведущий хроники иногда сам становился действующим персонажем, подающим полотенце Хрущёву или заряжающим ружьё, которое, возможно, и выстрелит… Так вот, когда он стал рассказывать о 1970-м, я поймал себя на мысли, что, при всей верности показа эпохальных событий, моей жизни в этом году они совсем не затрагивали. Столетие со дня рождения В. И. Ленина, появление водолазок и т.п. меня совершенно не касалось и не занимало. Для меня это был год возвращения с военной службы, поступления в институт и работы в типографии, начала совместной жизни с женой, огромного количества прочитанных книг и ощущения свободы, несмотря на недоедание, недосыпание и вечную занятость. Возможно, многие «эпохальные события» во все времена занимают множество людей не больше, чем они касались меня в столь памятном семидесятом.

На очередную годовщину свадьбы моя мама подарила нам жареную утку и курицу. Съев курицу с удовольствием, мы посмотрели друг на друга и съели утку тоже. Наесться досыта — большое праздничное удовольствие. Это гастрономическое событие с раблезианским оттенком вошло в семейный фольклор.

25 октября 1972 года я пришёл на занятия в институт, но мне было не до учёбы. Увидев Юрку Шишкина, я сказал ему, что сегодня у меня родилась дочь. Юра, вообще человек деятельный и эмоциональный, от этого сообщения взорвался фейерверком. Да что ты говоришь?! Прямо сегодня?! Немедленно едем к тебе!

Давай, пока лекция не началась, быстро отпрашивайся. Да ты вообще понимаешь, что произошло! Он в нетерпении подтолкнул меня к кафедре. Профессор внезапно увидел перед собой моё ошеломлённое лицо.

— Я прошу прощения, но мне необходимо уйти. У меня сегодня родилась дочь.

— Как, прямо сегодня?!

Я кивнул, понимая, что любое моё слово будет лишним.

— Конечно, вы можете идти.

— Большое спасибо.

Юрка не мог ни секунды стоять на месте. Он вынырнул из-под моей руки:

— Я должен идти с ним.

— А вы почему?

Шишкин, как правило, фонтанировал идеями на ходу:

— Так надо же мебель в квартире двигать. А то детскую кроватку поставить некуда.

Мы поехали ко мне, не забыв зайти в магазин. Потом долго сидели вдвоём, разговаривали, выпивали, чем-то закусывая, и пытались постичь величайшее событие, воспринимавшееся тогда как почти нереальное. История эта вошла в семейный фольклор под названием «двигать мебель».

Пять дней спустя ко мне вышли улыбающаяся жена и медицинская сестра, вручившая мне закутанное чудо со словами: «Растите на здоровье». Жена предложила назвать нашу дочь Мариной. Ну конечно же, морская, какая же ещё?

И ещё одна история, связанная с Юрой Шишкиным. Когда Марине уже исполнилось десять лет, её положили в Филатовскую больницу удалять аденоиды. В больнице и взрослому тоскливо, а тем более ребёнку. Как раз незадолго до этого Юрка приезжал к нам в гости и сфотографировал Марину с её любимым хомячком Пушой. Когда он узнал, что мы собираемся передать Марине что-нибудь, что её порадует, он полночи проявлял плёнку и печатал её «хомячьи» фотки, чтобы рано утром пересечься с нами в метро.

Мы привезли в больницу для передачи дочке фотографии вместе с нашим письмом и коробкой зефира в шоколаде, которую купить в 1982 году было не так просто. Марину мы увидели в окне.

Приложение

БЕСЕДА ЖАКА ЛЕ ГОФФА С УЧИТЕЛЯМИ ИСТОРИИ А. П. ШИКМАНОМ И М. Я. ШНЕЙДЕРОМ

Париж, Дом Наук о человеке,
11 мая 1998 г.

А. Шикман: Я внимательно читал вашу книгу «Цивилизация средневекового Запада», знакомился с произведениями историков «Школы Анналов». «Школа Анналов», новая историческая наука добилась впечатляющих успехов в изучении общественных структур и менталитета, но отказ от событийной истории создал тип ментально обезличенного человека, то есть мы видим, как время формирует людей, но мы не видим, как человек формирует время. Видите ли вы в этом проблему?

Жак Ле Гофф: Мой ответ отрицательный. Прежде всего, я не согласен, что историки «Школы Анналов» обезличили людей. Историки «Школы Анналов», наоборот, интересовались главным образом людьми и, в частности, они дали им то, чего лишила их традиционная история, то есть вернули людям их бытие в повседневности. Событийная же история не давала людям показаться или проявиться во времени. События слишком часто сменяли друг друга, давая поверхностное представление о жизни людей. История «Анналов», в частности со времён Фернана Броделя, наоборот, старалась исследовать людей с учётом эпохи, на протяжении длительного исторического периода.

А. Ш.: Рассказ Фернана Броделя о долгом времени, о средиземноморском мире — это рассказ о том, что существует всегда. Но

жизнь отдельного человека в нём не прослеживается. Не ментальность человека, не человек в природе, в истории, а именно жизнь отдельного человека. Я имею в виду исследование конкретной жизни, например Франциска I, влияние этой конкретной жизни на определённые события.

Ж. Ле Г.: Я не согласен с тем, что историки «Анналов» мало интересовались индивидуумом. Возьмём, например, Люсьена Февра, который написал книги о Лютере, о Маргарите Ангулемской. Другой пример — Марк Блок, писавший об обществе, — он показал, как жили и чувствовали люди, каково было их восприятие жизни. Говоря о менталитете, он предложил понятие конкретной человеческой жизни, истории человеческой мысли, духа, которыми раньше вообще не занимались. Впрочем, дух есть нечто более абстрактное, чем менталитет. Когда три года назад, если я могу привести мой собственный пример, я писал книгу о Людовике Святом, мне захотелось написать книгу не только об одном индивиде, но через него показать людей — мужчин и женщин в XII веке.

А. Ш.: То есть через частное — общее, через одного человека — людей того времени.

Ж. Ле Г.: Точно так. Я искренне думаю, что эта критика довольно несправедлива; наоборот, мне кажется, что историков «Анналов» можно упрекать скорее в том, что они мало интересовались политической историей. Когда вы думаете об историках «Анналов», надо также знать историю эпохи, с которой они боролись. Они вообще-то боролись с какой-то историей, которую считали хуже той, что писали сами, то есть с политической историей. История политических событий очень поверхностна. Занимаясь дипломатией и войнами, она не обращала внимание на глубинные процессы.

М. Шнейдер: Не кажется ли Вам, что в этом смысле, в контексте, в котором Вы говорите, «Школа Анналов» предвосхитила сотрудничество историков с коллегами других специальностей и создала условия для проникновения в историческое прошлое специалистов других наук, скажем, психологов?

Ж. Ле Г.: Несомненно. Идея диалога с другими социальными науками, в частности с психологией, заложена в самой сути «Школы Анналов». Менталитет в определённом смысле является объектом интереса психологов. Но Вы правы в том, что они интересовались в основном коллективной психологией.

А. Ш.: Сейчас в России многие методологические изъяны как исторических работ, так и в преподавании истории связаны с тем, что абсолютизируется сама идея периодизации. Исследователи усматривают в исторических периодах самостоятельное значение, забывая, что это только придуманная модель, необходимая для того, чтобы структурировать материал.

Ж. Ле Г.: Мне кажется, что вы полностью правы. Систематическое использование периодизации стерилизует историческое исследование. Вы говорите, что это проблема российских историков. Ещё хуже с этим в Китае. В течение двух пребываний в Китае у меня были контакты с китайскими историками, и я просто был в ужасе от официальной методологии. Это суперпериодизация! Я считаю, что основное условие успешного исторического исследования — это изучение источников. Источники не подчиняются какой-либо идеологии или периодизации. Общаясь с российскими студентами здесь в Париже или в рамках французского колледжа в Москве и Петербурге, я видел, что когда они имеют доступ к документам, то добиваются блестящих результатов. Я был поражён их умом. Я не хочу льстить им или вам, но у них действительно замечательные способности. То, что надо в них развить — это критический ум. Кстати, у меня очень хорошие отношения с российскими историками, находящимися в моём возрасте, — Гуревичем и Бессмертным.

А. Ш.: У Гуревича есть отличная работа «Исторический синтез и Школа „Анналов“».

Ж. Ле Г.: А какими проблемами вы интересуетесь и чем занимаетесь в Париже?

А. Ш.: Моя последняя работа — «Деятели отечественной истории». Это биографический словарь. Я хочу вам его подарить.

Ж. Ле Г.: Спасибо. Такие рабочие справочники — основа работы исследователя. Недавно в Пекине я познакомился с молодым китайским исследователем, решившим помочь коллегам разобраться в китайской историографии. Он подготовил похожее издание.

А. Ш.: Эта работа потребовала много времени, но уже сделана. А сейчас я работаю над книгой по философии истории. Меня интересует смысл самой науки «история», то есть те вопросы, на которые отвечали Марк Блок, Люсьен Февр, Коллингвуд. Я просто пытаюсь понять, к чему сегодня пришла историческая

наука, каким образом логика вопроса определяет логику исследования.

Ж. Ле Г.: Это то, что было центральной темой Люсьена Февра, Марка Блока, других историков «Анналов», то, что Марк Блок назвал проблемной историей.

А. Ш.: У нас вышла в переводе на русский язык великолепная работа Люсьена Февра «Бои за историю». Когда я читал вашу книгу, я увидел, что экономическая история, которая является основной в работах К. Маркса или в марксистских работах, лишь одна из параллельных историй, и что все они связаны между собой.

Ж. Ле Г.: Нет никакого фундаментального типа истории. Ни экономическая история, ни духовная история, ни какая-либо другая не могут быть в основе исследования. История состоит из пересечения, переплетения разных направлений.

А. Ш.: Когда я слышал такую фразу теоретика, это было интересно и заставляло задуматься. Но в вашей книге я увидел, как это сделано практически, как такое исследование было проведено.

Ж. Ле Г.: Опять я могу сказать о себе, что я написал некоторые тексты о методе, но в целом теория меня не интересует. Я стараюсь использовать исторический метод, и основной мастер для меня — Марк Блок.

А. Ш.: Ушёл ли Фернан Бродель от школы Блока, не был ли он слишком далёк от традиций «Анналов»?

Ж. Ле Г.: Трудно сказать. Он был под очень сильным впечатлением от двух наук — географии, что очень хорошо видно в его книгах, и экономики. Он был очарован ими. Основной период, которым он больше всего интересовался, — с XV по XVII вв. — с трудом позволял вести чисто экономические исследования. Мне кажется, что он обогатил «Школу Анналов», подчеркнул её многообразие. Надо также подчеркнуть понятие «длительного времени», которое он пустил в оборот. Для него это не было равнозначно неизменности, неподвижности. В полемической статье, обращённой к Леви-Строссу, Бродель хотел показать, что в истории нет постоянных структур, эти структуры находятся в постоянном движении, постоянно меняются, даже если эти изменения происходят очень медленно.

М. Ш.: В связи с тем, что монополии в исторической науке не существует и не может быть, само понятие исторической истины, которое вводилось в ряде стран, ставится под сомнение. Пра-

вильно ли я понимаю, что историк может сказать: «Это версия. Я так полагаю, я так прочитал источник, но я не могу утверждать, что это было именно так»?

Ж. Ле Г.: Да. Мы больше не верим в то, во что верили позитивистские историки.

М. Ш.: Ещё один вопрос. Поскольку мы имеем дело с детьми разного возраста, в том числе довольно взрослыми, мы встречаемся с проблемой такого рода. Школьники с большим трудом читают тексты. Потому что они в значительной мере лишены ассоциаций, они воспитаны на видео. Сейчас издаются массовым тиражом видеоматериалы по истории. Уже всё сделано, и человек пассивно воспринимает то, что он должен в принципе творить сам. Как вы полагаете, есть ли какие-либо реальные возможности с этим справляться?

Ж. Ле Г.:.: Я знаю, что это сложно преодолеть. Это верно не только у вас, но и во Франции, я думаю — везде. Воспитатели должны научить детей критическому восприятию картины. Мы не можем отказаться от видео — оно уже существует, но мы можем научить детей реагировать на эти картины, не принимать всё пассивно. Что касается программ, основанных на игре, то они очень увлекательны, и их роль в изучении истории очень велика. Существуют педагогически обоснованные фильмы, включающие ребёнка в процесс размышлений; главное, они не должны быть скучными. Надо убеждать учеников, что история — это что-то живое, что это интересно, и в этом отношении очень важна реакция ребёнка на фильм, даже на отдельные кадры.

А. Ш. Люсьен Февр говорил, что факта в готовом виде не существует, факт надо выработать.

Ж. Ле Г.: Абсолютно верно! Факт конструируется историком.

А. Ш.: Поэтому говорить об истории, какой она была и как она мыслится, бессмысленно. Если мы в чём-то ошибаемся, то, видимо, это происходит потому, что мы ошибаемся. Если бы могли сделать работу лучше, мы бы сделали лучше. Поэтому-то история время от времени переписывается. Самое великое, что сделала «Школа Анналов», — она поставила новые вопросы и получила новые ответы.

Ж. Ле Г.: Мы с моими друзьями из «Школы Анналов» хорошо осознали, что история «Анналов» уже исчерпана. Мы должны обновлять эту историю, отвечать на новые вопросы. Вот уже десять

лет тому назад мы написали статью в журнале «Анналы» 1989 г. под названием «Критический поворот». Это автокритика. Совершенно верно, что имеется дефицит в области истории индивида, в области политической истории. Теперь мы лучше видим, как, будучи историками, мы можем интересоваться индивидом, избегая, с одной стороны «проглатывания» индивида обществом, а с другой — доминирования индивида над обществом. Мне кажется, что биографии в этом плане очень интересны. Они также интересуют молодёжь. Я считаю, что история, которая близка к антропологии изучением обыденной жизни, может принести большой смысл в образование детей, заинтересовывая и забавляя их. В физике и химии проводятся эксперименты, мы должны найти аналогичные возможности в преподавании истории.

М. Ш.: Сейчас довольно популярны исследования, которые проводят в основном психологи, связанные с тем, что с распадом Советского Союза появилась проблема поиска новой национальной идентичности в посткоммунистических странах. С точки зрения тех, кто этим занимается, а я участвую в одном из таких проектов, именно история как наука в тоталитарном обществе формировала национальную идентичность. Когда же эта власть ушла, профессиональные историки смогли продолжить свои занятия, но те люди, которые читали официальную историю и не имели другой, оказались в тяжёлом положении, потому что они потеряли некоторые ориентиры.

Ж. Ле Г.: Я полагаю, что в таких странах, как Россия, распад советского режима создаёт особенно драматическую ситуацию. Но кризисы такого же рода переживает большинство стран. Это можно сказать и о Франции. Мы пережили в течение одного века много сложных процессов. Например, мы долго были колониальной державой, а потом прошёл процесс деколонизации. Создалось очень тяжёлое впечатление. Надо было найти другую идентичность, ведь раньше очень много писали и говорили об особой колонизационной миссии Франции. Потеря колоний привела к шоку, который до конца не преодолён и сейчас. С другой стороны, и гражданам новых стран, в частности в Африке, очень трудно обрести новую идентичность. Решение задачи требует формирования культуры нации в условиях независимости. Это долгий процесс, и задача историков помогать соотечественникам вылечить эти травмы. Это очень трудно, потому что надо одновре-

менно сохранить воспоминания и понять то, что было плохо, но надо восстановить доверие к прошлому. Это особенно важно для молодёжи.

А. Ш.: Предполагается ли издание Ваших работ в русском переводе?

Ж. Ле Г.: Да, есть определённый интерес к книге об историческом воображении. Существует специальная французская программа содействия переводам. Есть такая программа и в нашем посольстве в Москве, она называется «Пушкин». Мы заинтересованы и в переводах трудов российских историков на французский язык. Я, не будучи дипломатом, искренне говорю, что интересны историографические традиции во всех странах, но особенно в столь высококультурной стране, как Россия. Обмены должны проводиться в обоих направлениях.

А. Ш.: Большое вам спасибо, мы были счастливы встретиться с вами.

Ж. Ле Г.: Спасибо за ваш визит. Хочется больше размышлять после такой встречи.

М. Ш.: Мы очень надеемся, что ваши книги будут чаще издаваться в России.

Записал М.Я. Шнейдер

Анатолий Шикман (родился в 1948 году) — историк и писатель. Среди его работ фундаментальные биографические словари: «Деятели отечественной истории» (1997) и «Кто есть кто в российской истории» (2003); книги по истории московского особняка «Улица Кирова, 7» (1989) и истории исторической науки для старшеклассников «Открытие истории» (2000). Его последнее исследование о мифотворчестве в российской истории «Николай Морозов. Мистификация длиною в век» (2016) построено на изучении богатейших материалов московских архивов.

ISBN 978-1-950319-82-4
90000 >
9 781950 319824

M-GRAPHICS PUBLISHING
www.mgraphics-books.com
mgraphics.books@gmail.com